

Папа

Людмила Самойлова



Людмила Юрьевна Самойлова с момента выхода на пенсию круглый год живет в деревне под Муромом вместе со своим мужем, художником Геннадием; это мои стародавние друзья. Как многих горожан, их всегда тянула к себе природа, и уже давно они купили себе маленький домик — приют для московских друзей и окрестных интеллигентов.

По профессии Людмила театровед, работала в музеях, но однажды она устроилась педагогом в детский дом. После чего написала повесть «Государственные дети» (ее опубликовали в «Новом мире»).

Людмила — прирожденный летописец, она всю жизнь ведет дневники (а Геннадий профессионально фотографирует) — и, возможно, мы дождемся от них новой книги.

А сейчас Людмила начала еще писать и воспоминания о своем детстве, об отце-летчике и любимой бабушке.

Л. Петрушевская

— Я твоего отца, Людка, любила, як Христа. Он и був такой же дурнессенький, раздайбежа. Для других нычого не жалел.

— Расскажи, бабушка.

— Та хиба ж я тебе не казала?

— Еще, бабушка, пожалуйста, волшебное слово, еще.

— Ну, слухай, та иди до мене, паразитка. Та про що?

— Расскажи, как он Сене Карасеву отдал свой лучший американский костюм.

— Ну, я тебе от Адама. Ты ж знаешь, шо твоя ненормальная московская бабка-большевичка бросила Юрку в Америке, када ему было семнадцать лет. Твой дед Адольф закупал там до войны часовые заводы для СССР.

Московская баба Саша была ненормальной, потому что не вешала на окна занавески: «Ильич не любил занавесок».

— Как будто тот Ильич из Мавзолея побачит, чи йе занавески, чи их нема.

Девочка наизусть знала, что дальше бабушка помянет бабе Саше то, что она считала Евпаторию Москве не ровней. В Евпатории был дом бабушки, девочкиной мамы и младшей бабушкиной дочки Нади. Важно было, чтобы бабушка не рассердилась совсем, потому что тогда вместо истории про костюм пришлось бы слушать, что баба Саша не хотела, чтобы ее сын-летчик женился на дочке крестьянки-санитарки, Лизке.

— И шо с того? Подумаешь, раз она врач, так госпожа. Лизка сама на врача выучилась.

И т. д., и т. п. Важно было вернуть бабушку к костюму.

— Бабушка! А ведь папа тебя матерью звал, а однажды сказал, что только от тебя узнал, что такое материнская ласка.

— Да, Людка. Я його и любила, как родного сына. Тому Адольфу понадобилось в якусь Европу за образцами. Саша за ним и увязалась. Другой бы на месте Юрки пропал, но тильки не он. Он устроился на завод к Форду разнорабочим. И сам купил себе костюм, та ще с жилеткой.

Про то, как папа не пропал и как он уже с детства («Не то шо ты, Людка») умел быть самостоятельным и выучился уже в СССР без помощи московских вначале на моториста, а потом на летчика, было приятно слушать, и поэтому она, растягивая удовольствие, дожидалась главного в этом рассказе.

— Лизка была в Симферополе в институте, а я одна дома. Вдруг слышу, влетает Юрка и к гардеробу. Снимаю с вешалки тот костюм, хватаю новое одеяло с будильником и тикать. «Юрка, ты куда?» — «Мать, некогда, некогда, Сенька женится». — «Та що?» — «Мать, ему расписываться не в чем». — «А одеяло?» — «У него казенное, а своего нет». — «Та он такой же летчик, нехай себе купит». — «Это потом, мать. А нужно сегодня». — «Юрка, так ты хоть костюм отдай ему похуже. Ты ж с жилеткой никогда себе больше не купишь».

О, девочка прекрасно знала, что ответил папа бабушке. Ради ответа она готова была сколь угодно слушать этот рассказ. «Как ты не понимаешь, мать, Сенька мой лучший друг. Я не могу лучшему другу подарить плохой костюм».

Девочка прижималась к бабушке в восторге и от того, что папа так ответил, и от того, что у бабушки блеснули слезы гордости за него.

— И ты, бабушка, все-все ему разрешила взять?

— А как такому не разрешить, Людка? Та ще ж хитрый. «Зачем мне будильник, мать? Ты мой будильник». А я, Людка, правда в четыре утра вставала, шоб ему хачапури из слоеного теста испечь на завтрак.

После папиной гибели на войне бабушка никогда не пекла хачапури. Прошло много-много лет, но и по сей день она отчетливо представляет себе этот никогда не попробованный ею пирог с домашней брынзой, на котором светится золотом неразлившийся желток.

— Ну де ты бачила, Людка, шоб теца для зятя ни свет ни заря вставала хачапури делать?.. А справедливый! Ты ж знаешь, я драчунья была. Во кулак. От стою в очереди, сахар выкинули, та и думаю сама себе: сбегая на базар. Вертаюсь, а на моем месте мужик. «Ты не стояла», каже. «Как не стояла? То тебя тут не було». Суюсь, а он пихается, та в грудь. Больно ж, у меня аж искры из глаз посыпались. Ах ты, зараза. Поплевала я в кулак — ось бачь, Людка, та учись, — сжала, та как дам йому, та прямо в лоб промеж глаз. А он как вцепился в рукав моей шубы, так вместе с рукавом и повалился. Тут уси закричали: убила, убила. А я вырвала рукав та до дому. Прибежала, давай шубу под другие польты прятать. Придет с аэродрома, побачит та подумает: мать фулиганка. И нагадала. Он повесил свой реглан и до мене. «Мать, а где рукав?» Шо робить? Пришлось признаваться. Ось так и так. Я його потихоньку, Юрка. А он и похилився. И от! Людка! он и говорит: «Правильно ты, мать, сделала». Ты, Людка, тильки подумай. Он сразу понял, шо я не фулиганка.

Девочка всякий раз потихоньку спрашивала: «Бабушка, а тот дяденька живой остался?»

— Та шо ему и сделалось? Полежал, полежал, та й пошел.

И хотя оставалось неясным, пошел он или остался лежать — ведь откуда бабушке было знать? — девочка принимала то, что есть. Чаша любви была так сладка и огромна. И они с бабушкой держали ее вместе. А по опыту она знала, как внезапно настигал бабушку гневный шквал. И хорошо, если доставалось архангелам Гавриилу и Михаилу, — как правило, после них перепало и ей. Тогда бабушка кричала: «Я из тебя отцовскую дурь повыбиваю. Он подох и ты под забором подышать будешь та плевки усих собирать». Ей было непонятно, отчего бабушка сердится на нее именно за то, что ей так любо было в папе. Однажды на улице соседский мальчик поцарапал девочке проволокой щеку. Бабушка схватила его за шиворот, пригнула и грозно приказала: «Бей!» Но девочка видела красное перепуганное лицо, унижительную позу, и потому легонько погладила ему спину и отчиталась: «Все, бабушка, побила». Тогда бабушка сгребла ее, потащила во двор, отстегала прутом по ногам и отрезала: «Побачу, сдачи не даешь, ще добавлю».

Но сейчас, пока источник любви щедро изливался, девочка торопилась впитывать его влагу. Она знала, что их встреча с папой («Все ж таки он тебя успел побачить на этом свете») состоялась, когда ей было один-

надцать месяцев. Факт свидания был зафиксирован на фото. Папа держал на руках маленькое лысое существо с растопыренными ножками. Но девочку мучила неуверенность, осталась ли в той малышке встреча с папой? Ведь она-то не помнила. И потому она спрашивала: «А я его видела, видела?» И бабушка уверенно подтверждала: «Ну, а як же, Людка, а як же, ты ж почти разумная была, конечно, видела». И девочка ей верила.

В бабушкином доме папу любили все: и мама, и тетя Надя, и девочка, и бабушка. Но бабушка и девочка любили его по-особенному. Бабушка частенько приговаривала: «Ох, Лизка та Надька, хоть я и люблю вас, дур, та вы, хоть и родные, не обижайтесь. Юрку я люблю больше». Каким-то образом ей удалось вселить в девочку всю папину жизнь. Она просматривала ее и без бабушки. Но просматривать вместе стоило неизмеримо дороже, потому что здесь происходило единение.

Теперь она знает, что в основе бабушкиной любви была жгучая тоска по духовному идеалу. И что наиболее мучительна не плотская, а духовная привязанность. Именно она подвергает душу самым сильным испытаниям и соблазнам.

— Бабушка, а помнишь, как папа делал маме предложение? Помнишь, как он пришел, а ты подумала: ой, какой он некрасивый, даже тебе его жалко стало. А потом ты присмотрелась и увидела его глаза. Они были зеленые-зеленые и лучистые-лучистые. Бабушка, ты рассказывала, что у папы были небольшие глаза. Почему они так сияли?

— У других людей, Людка, и морда вроде красивая, и глаза большие, а невыразительные. А у твоего отца глаза выражали всю душу. У других той души на крохи, а у його она большая та добрая, и светилась, як звезда на ладони.

И вот мама, хоть ей и нравился комсомолец-блондин за шевелюру (хвала Богу), привела папу к бабушке. Бабушка с папой сели за стол в «парадной». Так называлась комната, где не было печки. При девочке та же скатерть лежала на столе, белая, холщовая, с красным рисунком из арбузов, виноградных кистей и листьев. А мама осталась в первой комнате. Бабушка сидела к маме лицом. И папа сказал, что если Лизунька ему откажет, то он на бреющем пролетит над церковью, собьет крест и погибнет. Эта церковь — девочка ее видела — была такой огромной, что за ней, кроме неба, ничего не было видно, а крест на такой высоте ей казался совсем маленьким. И было ясно, что зацепись папа за крест, самолет никак не удержался бы, а кубарем скатился бы с крыши и разбился бы вместе с папой о землю. И так бы оно и случилось, но папа обернулся к маме, а бабушка успела показать ей свой кулак. Весомый аргумент уничтожил все шансы комсомольца с шевелюрой. В результате мама получила в мужья лучшего человека на земле, а девочка появилась на свет.

Однажды, еще до войны, папа еще раз чуть не разбился. Это было на учебном полете. Он никому не сказал, что решил первым долететь до Луны. И вот на своем ястребке он стал подыматься все выше, и хоть уже трудно было дышать, он подымался все равно и был уже выше неба, уже там, где закончился воздух, и если бы

он не потерял сознания, то долетел бы обязательно. Самолет без управления закрутился штопором и стал падать. Но когда он оказался ниже неба, воздух попал папе в легкие, он очнулся и успел его выправить. За самовольство его посадили «на губу». Но папа не огорчился, потому что он был уверен, что за неудачей обязательно будет успех и что наши летчики первыми окажутся на Луне.

— Мы тильки с Юркой и побачили белый свет. Я ж санитаркой-спинальной работала в санатории. Таскала в ванны на руках здоровых мужиков. Они парализованные на спине лежали, платили крохи, та и те крохи твой дед Юхимка украде та й пропье. Када твой отец женился на Лизке, он всю зарплату отдавал мне. «Трять, мать, как знаешь. Понадобится, я у тебя возьму. А себе я буду оставлять триста рублей, шоб послать в Москву бабушке». Как-то пришлось к слову, я ему и кажу: «Крепко ты, Юрка, любишь свою бабушку, шо и деньги, и открытки посылаешь, и подарки возишь». От тут он и сказав, шо то не родная бабушка, а домработница. Она його ребенком жалела. То пряничек ему сунет, то конфетку. А он на всю жизнь запомнил. Таких, шо помнят добро, по пальцам пересчитать, а тех, кто на добро добром отвечает, и зовсим единицы. Я тебе, Людка, про отца рассказываю, а ты запоминай на всю жизнь. Бо второго такого дурня ты на земле не встретишь. С чужими людьми он як бирюк був. Сядет в угол, прижмет подбородок к груди, он у його длинный був, та и промолчит битый вечер. А со своими, хоть с нами, хоть с друзьями, заводной, як тот патефон. Тащит с аэродрома два здоровых шара, намалое рожу с лучами, у тех рож рты до ушей, и давай за нами по двору бегать. И Лизка, и Надька, и я бегаем от його, а он попадет тем шаром, шар як лопне, рожа та шипит та сжуривається, мы в покот хохотать. А он звончее всех, аж заливається. А када с финской войны прийшов, давай нас кружить. «Девки, я живой, живой. Будем пировать». И с чемодана подарки вытаскивает, шо в Ленинграде купил. А там, Людка, чайный сервиз, туфли комбинированные замшевые с лаком, шляпа фетровая, та платье, та белый шелковый платок с кистями. «Девки, меряй, кому что подойдет». Лизке туфли подошли, Надьке платье и шляпа, а меня он в платок завернул. «Та куда, Юрка, я пойду в нем, я ж не барыня». — «Пойдешь, мать, со мной в театр, ты заслужила».

Бабушка после войны не надевала этот платок. Раз в году, перед Пасхой, когда все вещи выносились из дома, платок проветривался на веревке. Кисти, длинные, как волосы у русалки, переливались и шевелились на ветру. Бабушка иногда позволяла девочке вернуться в него, и девочке казалось, что она попала в тот настоящий мир, в котором звучал смех, и все любили друг друга.

— Бабушка, а папа вернется?

— Если жив, обязательно, Людка. Може, он среди репатриированных, а може, к американцам попал. Он же балакал по-ихнему. Тильки он не возвернется. Таким дуракам нема на билом свете места. Он же был командир эскадрильи. Другие себя та свои семьи не забывали.

Бабушка ругала других, пока девочка не закрывала ей рот ладошкой и умоляюще просила: «Можно я, бабушка, можно?».

— Та кажи.

— Они вместе, папа и его летчик, стреляли по немецкому самолету, и попадал папа. А потом, когда они приземлялись, папа говорил: «Молодец, поздравляю. Ты сбил фашиста». А летчик сомневался: «Нет, командир, это вы сбили». Но папа так радовался, что летчик ему верил. А после этого летал как орел и совсем не боялся немцев.

О своем, как теперь бы сказали, ноу-хау в деле воспитания папа рассказал девочкиным, приехав к ним в эвакуацию. Бабушка тогда все время старалась не повернуться к нему спиной. Он заметил и спросил: «Мать, что у тебя на спине?» — «Та ничего, Юрка. Платье порвалось та штанов нема. Я тебя стесняюсь». И папа нагнул голову, чтобы они не заметили его слез. Но они все равно порадовались вместе с ним его успехам в деле воспитания молодого поколения. И только бабушка, осторожно, чтобы не обидеть, ему напомнила: «Юрка, за сбитый самолет большие деньги платят, а мы голодуем, ты ж хоть через раз так делай. И потим, ты ж героя можешь получить». А папа беззаботно отвечал: «Я и так дважды орденосец Красного Знамени, мне больше не надо». А когда они просили побережь себя, он отвечал: «Вы не знаете, нам золотые памятники поставят».

— От дурак. Кому они нужны. И де те памятники? Ты их видела, Людка? И не побачишь. Свет бардак, люди бл...

Где-то в начале семидесятых маму навестила племянница одного из летчиков папиной эскадрильи. Ее дядя погиб, но она не верила в его смерть, ездила по сослуживцам или их родственникам и наводила справки. И вот один из летчиков рассказал ей, что он и его товарищ своими жизнями обязаны капитану Владимирскому. Пять месяцев их атаквали на подлете к нашему аэродрому. На земле все понимали, что их собьют при попытке сесть или чуть позже в воздухе. Взлететь не позволял приказ, запрещавший оказывать помощь вблизи аэродрома, чтобы его не рассекретить. Немецкие летчики прекрасно видели, что под ними, глупость приказа явствовала, но никто не смел его нарушить. Не выдержал и ослушался только ее папа. Он взлетел, и изменившееся соотношение сил оказалось спасительным для двух обреченных на смерть.

Вскорости после победы к ним в Евпаторию приехал летчик папиной эскадрильи Федя Бородавко, один из воспитуемых по папиной методе.

— Он, Людка, плакал та каялся, шо командир из-за його погиб. Федя казав, шо усю эскадрилью перевели к Керченскому проливу.

На старом аэродроме в станице Пятихатке оставались Федя и папа. И вот папу вызвал командующий ВВС Черноморского флота генерал Ермаченков и приказал произвести разведку над Керченским проливом. «Облачность висела над самой землей, — рассказывал Федя, — лететь нужно было на бреющем, а самолеты не были радиофицированы». Получалось, при отсутствии шансов выжить летчик не мог передать данных разведки. Папа спорил, но Ермаченков остался непреклонным. Федю страшно поразило, что, пересказывая разговор, командир матерился...

Так вот. У папы был выбор: отправить на верную смерть Федю или лететь самому. «Та у того Феде и де-

Герцогиня капитан Владимирский



Особая гордость девочки заключалась в том, что она похожа на папу. «Ты, Людка, его портрет, тильки глаза не такие зеленые». Дома это было установленным фактом, но однажды подтверждение пришло со стороны, от совсем незнакомых людей. Она прогуливалась со своей теткой Надей, одетая в мальчиковый комбинезон, по евпаторийской улице. Навстречу им, и что показательно, по другой стороне, шли два летчика. И вот они перешли к Наде и девочке, потому что один из них оттуда, с не такой уж близкой стороны, посмотрел в их сторону и сказал другому: «Глянь на этого пацаненка. Приклеить усы, и будет вылитый капитан Владимирский». Они несли огромные букеты бело-розовой сирени. И эти букеты, предназначенные кому-то совсем другому, были подарены девочке. Признание ее схожести с папой вместе с падавшими из рук ароматными гроздьями было сказочно прекрасным. Конечно, все вместе пошли в девочкин дом. Тогда от них стало известно, что на дне Керченского пролива нашли будто бы папин самолет. «Будто бы» потому, что часть номера заржавела. Кабина была пустой, но в ней будто бы был реглан. Наверное, мольба в глазах ожидавших доброй вести заставила исказить правду в сторону надежды.

В доме девочкино место было напротив двух портретов, папиного и его ведомого Кости Штыкова. Оба портрета были равной величины в одинаковых рамках и немного наклонялись к девочке. Папа смотрел на нее чуть исподлобья, едва заметно улыбаясь краешками губ. Наверное, фотографу тоже понравились его необыкновенные зеленые глаза, потому что за папиным лицом клубились зелено-серые облака. Происхождение Костиного портрета было таковым. Папа привез его девочкиным и сказал: «Кости нет. Погиб. Все его родные умерли в блокадном Ленинграде. Мать, сохрани портрет. Кроме вас, его помнить больше некому. Он закрыл меня собой». Бой шел прямо над городом Туапсе. И все люди видели, как между папой и мессером оказался Костя и как вспыхнул его самолет. А накануне папе приснился сон, будто он и Костя в большой белой комнате, и вот стали закрываться ставни, и в темноте оставалась одна тонкая щелка света, и папа сумел в нее проскользнуть, и уже с другой стороны он услышал: «Командир, командир, а как же я?». А папа ему ответил: «Хана тебе, Костя». Костю хоронил весь город. Девочка слушала бабушку, смотрела замороженно на ее руки. «Он почернел, як головешка, и ось шо от него осталось». То, что осталось, никогда не могло снова стать Костей. Костя пропал безвозвратно, навсегда. Его положили на белую простыню. И ей так и запечатлелось, как весь город нес эту простыню, заваленную цветами, и все шли молча, потому что из сердцевины выглядывало черное обугленное Костино тельце. На портрете Костины волосы были подстрижены ежиком, как у мальчика, он смотрел на нее тревожно, во все глаза. И она его успокаивала: «Я никогда тебя не забуду, Костя».

Большую часть времени она проводила с бабушкой. Мама служила врачом на военном аэродроме в Крыму. Тетя училась на юриста в Симферополе. Когда они приезжали, девочка очень радовалась. Вечером на стол ставили миску жареных семечек. Каждый отсыпал

тей не было, а он, дурак, все равно полетел сам. Он другого не мог на верную смерть отправить». Федя рассказал, что Ермаченков все-таки спохватился и послал приказ об отмене вылета. Но приказ опоздал на десять минут. Эти десять невозвратных минут она будет помнить до своей гробовой доски вместе с завещанной ей любовью. Тогда же, в первые послевоенные годы, ее домашним казалось, что раз отмена приказа все же была, то, возможно, и его смерть потеряла свою неперемную обязательность.

себе жменю — горсть. Бабушка, мама и Надя успевали есть зернышки и одновременно складывать их в горку, чтобы потом эту горку разом положить в рот, а девочка, чтобы ее горка была не меньше, успевала только откладывать зернышки. Зато к минуте наслаждения лакомством она могла поделиться: «Это тебе, бабушка, это тебе, мама, это тебе, Надя». А они, охотно принимая дар, делились в свою очередь с нею. На стол клали два больших альбома с довоенными фотографиями. «Ото, люди барахло спасали, а у нас полчемодана Юркины альбомы занимали. Всю эвакуацию за собой таскали и спасли». Там была любимая девочка фотография. Ее называли «куча мала». Папа, его друзья, мама, Надя просто-таки повалились от хохота. Волшебная «куча мала» счастья. Отсвет этой радости появлялся за столом. Но ложка дегтя была наготове.

Начиналось, как говорится, за здоровье. А затем бабушка находила повод помянуть своего главного сокровенного врага — Сталина.

Они вернулись в Евпаторию за год до окончания войны. 8 мая 44-го года. А буквально через пару дней были выселены любимые бабушкины соседи греки. Вспоминая о том, как подъезжали ночью грузовики, как в разворошенные гнезда бросались соседи и растаскивали по домам чужое добро, бабушка подходила к форточке, закрывала ее, после чего с ненавистью грозилась пальцем: «То он специально, пока греки-солдаты не вернулись с войны. Все он, этот Йоська-кровапийца, натворил. Доведет он страну до ума. Он же, гад, весь народ перепаскудил. Никада йому не прощу». Девочка видела, как изменяются лица мамы и тети. Она пыталась отодвинуть нависшую тучу и робко просила: «Бабушка, не надо». Но у бабушки рот выгибался презрительно горестной скобкой. Она обращалась к обеим: «На шо вам та партия? Одна влезла и другая за то ж. Аблакатоу хочеш стать?» (Когда девочка стала учиться, она объясняла бабушке, как правильно выговаривать, а та досадливо отмахивалась: «Та хоть адвокат — все равно продажная совесть»). Затем к маме: «Нашла Людке отчима интенданта. Ворюга Юрку не заменит». Надя и мама начинали махать руками, их лица краснели от натуги, они били себя в грудь и кричали: «Что тебе надо? Мы хотим жить». Бабушка сидела как памятник, изредка подливая масла в огонь: «Орите, орите, нехай вас все люди слышат». Девочка моталась между ними, ее отшвыривали, и в конце концов она забивалась под стол. Когда мама и Надя изнемогали, бабушка подытоживала: «Дуры вы набитые. Юрка, тот понимал и знал жизнь. А вы не то шо не понимаете, вы ничего знать не хотите».

О том, что папа в самом деле понимал, она узнала много позже, когда после смерти мамы в углу платяного шкафа нашла пачку папиных писем с фронта. В нескольких письмах папа настоятельно маме рекомендовал прочесть «очень интересные и умные книги», «Преступление и наказание» и «Былое и думы». Во время же скандалов девочка думала: почему бабушка боится, что люди услышат? Ведь их дом был их крепостью (она сама говорила), окруженной глухим непроницаемым забором. Но раз бабушка боялась, значит, все люди стояли

по ту сторону и до них долетали страшные бранные слова. Она стала стыдиться своих домашних.

В ней утверждалась мысль о неправильности их жизни и убеждение, что эта неправильность исчезла бы вмиг, если бы папа вернулся. Он должен был вернуться, чтобы им помочь. Ведь он любил их так же сильно, как и они его. Ведь и бабушка так ждала его возвращения, потому что опять хотела стать доброй. Она сама говорила: «Я б тому богу та й людям все простила, тильки б он вернулся».

Когда солнце переставало жечь их дворик и уходило за крышу, бабушка доставала из колодца холодную воду и поливала раскаленное крыльцо. «Неси, Людка, наши скамейки». Девочка бросалась во двор и тащила под окна две скамеечки, побольше — бабушкину и поменьше — свою. Цемент уже впитывал воду, и с посветлевшей поверхности последними таяли следы босых ног: большие кружки бабушкиных пальцев и маленькие — девочкиных. Бывало так, что, когда бабушка рассказывала, в калитку стучали, и тогда она вскакивала: «Ты не ходи, Людка, я открою». Она бежала босая, спотыкаясь, по дорожке из грубых камней и кричала: «Сейчас, сейчас». Иногда она забывала, что калитка заперта. Тогда, так же спотыкаясь, она бежала обратно, хватала огромный железный ключ, и девочка замирала: вот сейчас крепость распахнет, и вместе с папой ворвется сияющая всеобъемлющей любовью жизнь. Бабушка возвращалась с тусклым от разочарования лицом, а ее крепость с годами становилась все неприступнее и суровее. Ворота были высоки, калитка приземиста, запор открывался только после строгого: «Кто там?». И чем замкнутее становилась жизнь дома, тем страстнее девочка ждала папу. Впоследствии ожидание его возвращения превратилось в нравственную зависимость. Если бы он пришел, то не было бы тех или других ее дурных поступков, если бы он вернулся, она была бы намного добрее и, что занятно, даже умнее. Она стала досадовать на Федю Бородавко и предъявлять ему про себя счет. Что он сделал с подаренной ему жизнью? Вряд ли он сумел правильно ею распорядиться. Папина жертва все более казалась ей напрасной. Где золотые памятники? Вместо них по городам и весям стоят облупленные гипсовые солдаты с регулярными собачьими свадьбами под ногами.

В который раз перечитывая его письма, она однажды обратила внимание на органически ему присущую способность не думать дурно о других. Он хотел любить и всегда для любви находил почву. С ней же произошел некий абсурд. Вслед за бабушкой она стала судить других за то, что они не такие, как он.

Боль утраты сегодня остра так же, как в детстве. На том портрете папы, что висит у нее по сей день, ему двадцать девять лет. Столько он прожил. Несмотря на то, что он выглядит намного старше, она сейчас в свои шестьдесят два года совсем на него не похожа. Ей кажется, это оттого, что зерно его души долго лежало черствым и не давало всхода. Но все же она чувствует в себе тепло его жизни и старается этот маленький очаг сохранить живым.

Оформление Т. Касьяновой